

Григорий Беневич

Поэтика онтологии и предельного опыта:

О ПОЭМЕ ОЛЬГИ БЕРГГОЛЬЦ «ТВОЙ ПУТЬ»¹

DOI: 10.53953/08696365_2022_173_1_198

В истории культуры известно много случаев, когда поэты, чрезвычайно популярные при жизни (озвучные в своих мыслях и чувствах современникам), со временем теряют своих читателей и постепенно забываются. Напротив, не столь известные, маргинализованные (то ли своей сложной и/или необычной поэтикой, то ли цензурой, то ли тем и другим сразу) авторы со временем приобретают известность и находят своего «читателя в потомстве». Военные стихи О. Бергтольц были чрезвычайно популярны, да и властями предержащими они расценивались как важный элемент идеологической работы. Не случайно Бергтольц был предоставлен микрофон на радио во время блокады. Но сохраняет ли ее поэзия и прежде всего ее творчество военных лет свое значение для будущих поколений и не только как память о блокаде, а, так сказать, в абсолютном смысле? Ответ на этот вопрос не столь очевиден. Так, в недавно вышедшей книге Полины Барковой о блокадной поэзии творчество О. Бергтольц освещается скромно и весьма критически, а весь акцент перенесен на авторов (впрочем, действительно заслуживающих внимания), чьи стихи во время блокады, да и долго после нее были практически неизвестны (Г.С. Гор, Н.В. Крандиевская, С.Б. Рудаков и Т.Г. Гнедич)².

В настоящей статье я постараюсь сказать о том в наследии Бергтольц, что, с моей точки зрения, имеет непреходящую ценность, чего (отчасти по тем же цензурным причинам, а отчасти из-за своей неочевидности и сложности) не было в фокусе внимания современников. Завершившаяся в 2020 году публикация трехтомника дневников О.Ф. Бергтольц существенно расширила наше представление о ней и позволила иначе взглянуть на многое в ее творчестве. Не в меньшей степени, чем наследие таких поэтов, как Осип Мандельштам или Анна Ахматова, лучшее у Ольги Бергтольц, как я стараюсь показать на примере поэмы «Твой путь», пронизано единой поэтикой, должно быть понято в совокупности своих внутренних связей.

Поэма «Твой путь» (завершена в апреле 1945 года) занимает исключительное место в творчестве Ольги Бергтольц. В дневниковой записи от 23 мая 1949 года она признает, что ее томит, но не находит разрешения «ощущение “всей жизни”, которое дало (ей. — Г.Б.) в 42 г. “Ленинградскую поэму” и в итоге — “Твой путь”». И тут же прибавляет: «Только раз или два прошелся по душе

1 Я благодарю Сергея Завьялова, пробудившего мой интерес к поэзии Бергтольц, первого читателя и критика этой работы, Александра Скидана за ценные критические замечания и Аркадия Шуфрина, без чьих семинаров по философии Мартина Хайдеггера мне было бы трудно написать эту статью.

2 Баркова П. Седьмая щелочь: тексты и судьбы блокадных поэтов. СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2020.

творческий трепет и тотчас же угас»³. Что значит в ее устах «ощущение “всей жизни”», нам еще предстоит понять. Сейчас же важно отметить исключительность для самой Берггольц этой поэмы, что подтверждается и некоторыми другими ее дневниковыми записями⁴.

В своей первой статье, посвященной этому произведению — «Пасха Ольги Берггольц. О христианских подтекстах поэмы “Твой путь”»⁵, — я делал акцент на многочисленных примерах, когда Берггольц в передаче и осознании блокадного опыта прибегала к христианской, более того православной церковной (прежде всего пасхальной) парадигме, ко всему тому, что я назвал «материнским языком» (учитывая, что Берггольц впитала этот язык с детства, хотя потом, став комсомолкой и членом ВКП(б), была до определенного времени отчуждена от него). Хотя это чрезвычайно интересно, ибо мы имеем дело с использованием церковного языка в нецерковном контексте (к тому же человеком, допущенным до радио и печатного станка), наличие таких подтекстов и аллюзий само по себе еще не обязательно свидетельствует о художественной и духовной ценности этого произведения. В настоящей же статье мне бы хотелось обратиться к еще более глубинному пласту поэмы, делая акцент на том, что я называю поэтикой онтологии (то, как поэт говорит о бытии и понимает его), — измерении ключевом для поэмы и для творчества Берггольц в целом. Речь, как мы увидим, об онтологии экзистенциальной — прохождение через смерть и становление в «собственном бытии» составляют важнейшую часть мистерии и фабулы «Твоего пути». Именно это измерение (его наличие и подлинность его разработки в поэме и прилегающих сочинениях), на мой взгляд, составляет настоящее, до сих пор скрытое сокровище в наследии Берггольц; именно оно, коль скоро речь идет о стихах о блокаде, имеет прямое отношение к тому, что можно было бы назвать поэтикой предельного опыта. Не в меньшей степени предельным был тюремный опыт Берггольц 1938—1939 годов, к которому она часто возвращалась и во время блокады, — и то, и другое обсуждается в настоящей статье.

1. Быт и бытие

Четвертая часть поэмы «Твой путь» открывается краткой, но чрезвычайно емкой характеристикой онтологии блокадного опыта зимы 1941—1942 годов:

В те дни исчез, отхлынул быт.
И смело
в права свои вступило бытие⁶.

3 Берггольц О.Ф. Мой дневник: В 3 т. Т. 3. 1941—1971. М.: Кучково поле, 2020. С. 415.

4 См., например: Берггольц О. Мой дневник. Т. 3. С. 398.

5 Беневич Г. Пасха Ольги Берггольц: о христианских подтекстах поэмы «Твой путь» // Новый мир. 2021. № 8. С. 180—196.

6 Ольга. Запретный дневник: дневники, письма, проза, избранные стихотворения и поэмы Ольги Берггольц / Сост. Н. Соколовская, А. Рубашкин, Н. Прозорова. СПб.: Азбука-классика, 2010. С. 485. (В дальнейшем в цитатах из поэмы «Твой путь» ссылки даются на это издание с указанием в скобках номеров страниц; шрифтовые выделения Берггольц.)

Известны и уже были в фокусе писавших о поэте некоторые тексты Берггольц, в которых тоже речь идет о соотношении быта и бытия во время блокады⁷, но, кажется, до сих пор не обращалось внимание, что говорится об этом несколько иначе, — в них быт и бытие не «сталкиваются», но едва ли не отождествляются. Так, уже в письме Георгию Макогоненко от 8 февраля 1942 года из Москвы, где вывезенная на лечение Берггольц увидела совсем другую жизнь, она писала:

Знаешь, свет, тепло, ванна, харчи — все это отлично, но как объяснить тебе, что это еще вовсе не жизнь — это СУММА удобств. Существовать, конечно, можно, но ЖИТЬ — нельзя. И нельзя жить именно после ленинградского быта, который есть бытие, обнаженное, грозное, почти освобожденное от разной шелухи⁸.

О том, как появилось слово «быт» в блокадной поэтике Берггольц, можно предположить по отрывку из письма от 17 февраля 1943 года в Москву завлиту Московского камерного театра Н.Д. Оттену:

Ленинград зимой сорок первого — сорок второго года: комсомольцы бытовых отрядов. У нас были такие отряды — они ходили по диким тогдашним домам и спасали тех, кто уже не мог встать. И спасли десятки тысяч людей. Сами же были в таких же условиях — то есть так же голодали и еле ходили⁹.

Вот из этого выражения «бытовые отряды», вполне вероятно, слово «быт» вошло в блокадную поэтику Берггольц и было ею — по характеру действия этих отрядов по спасению людей — предельно сближено с бытием.

В том же письме Оттену уже про зиму 1942—1943 годов Берггольц пишет:

Я выступала в одном жилом кусте, спрашивала — умирали ли люди этой зимой по тем же причинам, как в прошлом году? «Нет, — ответил мне комиссар дома, — мы еще осенью на активе решили — ни одной смерти не допустим. И не допустили в нашем кусте прошлогодних смертей». Вы думаете — это газета, или патетика, или «героизм»? Это быт, вот в чем дело. У нас бытом стало само Бытие и быт — Бытием, наоборот¹⁰.

Этих примеров достаточно, чтобы убедиться в предельном сближении, вплоть до слияния, в сознании Берггольц применительно к блокаде быта и бытия.

В поэме «Твой путь», написанной уже после снятия блокады и в преддверии победы, мы встречаем некий другой ракурс на соотношение «быта» и «бытия»:

В те дни исчез, отхлынул быт.
И смело
в права свои вступило бытие.

Здесь блокадные быт и бытие не отождествлены, как в приведенных выше письмах, между ними проводится определенное различие, точнее, здесь ухва-

7 См., например: Цурикова Г., Кузьмичев И. Путь к главной книге // Вспоминая Ольгу Берггольц. Л.: Лениздат, 1979. С. 16.

8 Цит. по: Громова Н. Смерти не было и нет. М.: АСТ, 2020. С. 214.

9 Ольга. Запретный дневник. С. 222.

10 Там же. С. 221—222.

чен какой-то существенный момент перехода от одного способа существования к другому. У поэзии свой язык, и если бы она не давала нечто специфическое именно для нее по сравнению с теми же письмами, то можно было бы сказать: все это интересно, может быть глубоко, но причем тут стихи? Поэтому вчитываемся снова в эти строчки. Важно каждое слово и порядок этих слов. Так, слово «исчез» применительно к быту уточняется другим — «отхлынул». Быт здесь, словно некая водная стихия, она не просто как-то исчезла, но «отхлынула», будто речь о море, которое расступилось, уступив не просто место, но власть бытию, которое «вступило в права». Очевидно, прежде этой властью обладал быт. Но теперь, когда ничего не осталось кроме жизни и смерти, когда, как неоднократно повторяет в письмах Берггольц, отпала вся шелуха¹¹, быт уступил место, теперь понятно, что царственное место, Бытию. Очевидно, уже после этого, то есть после того, как воцарение Бытия совершилось, быт и стал бытием, как Берггольц пишет об этом в своих письмах.

Но что же, собственно, она имеет в виду под бытием и что означает это ее отождествление либо противопоставление бытия и быта? Понять это может помочь отрывок из дневниковой записи от 12 апреля 1942 года, сделанной в Москве:

Тихонов тоже рвется в Ленинград. Я знаю, что влечет нас туда: там ежеминутно человек живет всей жизнью, там человеческие чувства достигают предельного напряжения, все обострено и обнажено и ясно, как может быть ясно перед лицом гибели¹².

Здесь принципиально, что «перед лицом гибели». Попробуем сказать об этом более философски, бытие же философское понятие.

(Заметим, Берггольц, говоря о бытии, думаю, вполне осознанно использует это слово в том же высоком смысле, в каком оно фигурирует в философии, чего не скажешь, например, о других блокадных поэтах (как официальных, так и неофициальных). Так, Наталья Крандьевская, поминая то же слово «бытие», употребляет его в несобственном, принижающем и обыденном смысле, когда, клянясь в верности Городу, риторически вопрошают: как «променять на бытиё / За тишину в глухи бесславной / Тебя, наследие моё, / Мой город велико-державный?» («Я не покину город мой»)¹³. Здесь «бытиё» — это просто жизнь, какое-то даже в духовном отношении прозябанье. Это тот же самый смысл, в котором «бытиё» использует сталинская лауреатка за блокадные стихи Вера Инбер: «Чтобы вернее сокрушить врага, / Я все отдам и даже бытиё; / О Ленинград, сокровище моё!» («Пулковский меридиан»)¹⁴).

В обыденном, повседневном существовании смерть не входит в горизонт нашей экзистенции (мы тем или иным образом уклоняемся от бытия-к-смерти, как об этом говорит Мартин Хайдеггер), такое существование описывает наш быт в его обыденном смысле. Блокада же поставила человека в такие условия, что ввела бытие-к-смерти — при определенном отношении к смерти — в саму

11 Ср. из того же письма Оттену: «...стремительнее всего обваливались надстроечные украшения и шелуха, оставалась жизнь и смерть в чистом виде» (Ольга. Запретный дневник. С. 219).

12 Берггольц О. Мой дневник. Т. 3. С. 171.

13 Цит. по: <http://blokada.otrok.ru/poetry/krandievskaia1.htm>.

14 Цит. по: <https://litresp.ru/chitat/ru/%Do%98/inber-vera-mihajlovna/pulkovskij-meridian/5>.

его экзистенцию, которая, таким образом, из уклонения от смерти в смысле забвения своей смертности стала тем, когда смертность принимается во всей полноте и всерьез, но не с тем, чтобы быть раздавленным ею, впасть в отчаяние или уныние, но с тем, чтобы противостоять ей, победить ее. Бытие — это такая жизнь, которая не вытесняет смерть, не закрывает на нее глаза (как это бывает у нас обычно в повседневных житейских заботах, «быте»), но такая жизнь, в которой смерть (твоя собственная и других людей) включена в горизонт существования и определяет, наряду, конечно, с жизнью, характер нашей экзистенции. В свете этого стояния «перед лицом гибели» все предельно обнажено, как говорит Бергтольц, освобождено от шелухи, становится ясно.

В таком бытии жизнь и смерть не нечто взаимоисключающее, ибо бытию (таково это философское понятие) ничто не противоположно. И если в декадентском дискурсе «быт» («Твоих ежедневных бессильных потуг, / Твоей обычательской лужи», как заклеймил его Блок¹⁵) — нечто низкое, противоположное творчеству и жизни богемы, то Бергтольц в своих блокадных стихах и прозе, преодолевая изнутри эту декадентско-романтическую парадигму, говорит (как видно из ее писем) о том существовании, когда быт стал бытием, а бытие бытом. А в поэме «Твой путь» схвачен момент, как именно это произошло: быт (в том смысле, в каком он является способом забвения смерти) «отхлынул», и бытие воцарилось на том самом месте, где был быт; те же самые повседневные заботы стали не способом уклонения от смерти, а принятием смерти (своей и близких) во всей серьезности ее ежеминутной угрозы.

Сравнивая отношение к блокадному быту О. Бергтольц и Н. Крандиевской, можно привести такие строчки последней: «...Ничком на кожаном сиденьи / Лежит давно замерзший труп. / А рядом, волоча салазки, / Заехав в этакую даль, / Прохожий косится с опаской / На быта мрачную деталь» («Обледенелая дорожка»)¹⁶. Если Бергтольц, говоря об умирании города в целом, сама проходит через смерть (со-умирает ему), встречает ужасное как ужасное, «бильярдски грозное» (492), то здесь поэтесса смотрит на смерть со стороны. Смерть остранена и одомашнена. Это не проживаемое бытие-к-смерти, а жизнь, в которой смерть — остраненная эстетически деталь быта.

В более ранней, чем приведенная выше, блокадной записи от 26 декабря 1941 года Бергтольц подробнее говорит о том, что для нее значит эта жизнь на краю гибели:

О, как знакомо и понятно мне это состояние странного, жгучего, немыслимого счастья, когда ощущаешь, что ты на краю гибели и живешь на этом краю всей жизнью — доброй, щедрой и открытой¹⁷.

Если бы не последние слова про доброту, щедрость и открытость, можно было бы подумать, что Бергтольц просто повторяет Пушкина: «Все, все, что гибелю грозит, / Для сердца смертного таит / Неизъяснимы наслажденья — / Бессмертья, может быть, залог! / И счастлив тот, кто средь волненья / Их обретать и ведать мог».

Но Бергтольц и в стихах, и в дневнике не просто повторяет классика (которого наверняка помнит), но пишет о чем-то сходном по-своему, опираясь на

15 А. Блок, «Поэты».

16 Цит. по: Барскова П. Седьмая щелочь. С. 83.

17 Бергтольц О. Мой дневник. Т. 3. С. 98.

свой уникальный опыт (не только блокадный, но, как мы увидим, и тюремный), сопоставляя жизнь на краю гибели с обыденной:

Нет, не объяснить этого никому, — этого ощущения высшей свободы и счастья, — не людской, не бытовой, не уловимой словом свободы ото всего, что не жизнь, не сама жизнь.

Это ощущение высшей свободы я знаю еще по тюрьме, по одиночке № 9, когда, живы вдруг всей жизнью — прошлым, настоящим (кусок неба над на- мордником) и будущим, я смеялась от изумительной радости, от сознания полной и абсолютной свободы.

«Ведь этого никто не в силах отнять у меня — меня самое, мою душу, мое желание жить и быть счастливой, то хорошее, что было, — это уже навсегда со мною, и никто не сможет ни отнять, ни присвоить этого...»

Так и теперь. Ничто — ни голод, ни холод, ни немцы — ничто не в силах отнять желания жить и быть счастливым¹⁸.

В этом отрывке много важных в философском и экзистенциальном измерении мыслей. Но наиболее существенная для нашего разговора о поэме «Твой путь» тема счастья, свободы и жизни, переживание ее полноты («живешь всей жизнью», ср. в записи от 12 апреля 1942 года: «там ежеминутно человек живет всей жизнью») как раз в той ситуации, в которой, казалось бы, жизнь человека наиболее ущербна и убога, сведена к элементарному выживанию. Но Берггольц говорит об этом не как о выживании, а как о переживании «всей жизни», внутренней свободы, которая сильнее любых тюрем и блокад. Вероятно, это и есть то, что она называет Бытием.

Интересно сравнить такое понимание бытия с тем, которое встречается в стихотворении «На Мамисонском перевале» (1940) (подробнее о нем, как и о месте самого Мамисонского перевала (она побывала на нем в молодости, в 1930 году) в поэме «Твой путь», см. в моей первой статье о поэме):

На Мамисонском перевале
остановились мы на час.
Снега бессмертные сияли,
короной окружая нас.
Не наш, высокий, запредельный
простор, казалось, говорил:
«А я живу без вас, отдельно,
тысячелетьями, как жил».
И диким этим безучастьем
была душа поражена.
И как зенит земного счастья
в душе возникла тишина.
Что было вечно? Что мгновенно?
Не знаю, и не всё ль равно,
когда с красою неизменной
ты вдруг становишься одно
Когда такая тишина,

18 Там же. С. 98.

когда собой душа полна,
когда она бесстрашно верит
в один-единственный ответ —
что время бытию не мера,
что смерти не было и нет¹⁹.

В этом стихотворении «бытие» характеризует причастность вечности, переживаемой здесь и сейчас, это бытие, которому время не мера. О каком «времени» идет речь? Очевидно, времени в его обыденном понимании, как тому, в чем происходит череда событий нашей повседневной жизни, здесь имплицитно противопоставлено бытие как жизнь «на вершинах», в области вечного и неизменного, бытие как причастность вечности. В отличие от так понимаемого бытия бытие, о котором Берггольц свидетельствует во время войны, не противопоставлено времени, но как бы выбирает его: «Это ощущение высшей свободы... когда, живы вдруг всей жизнью — прошлым, настоящим... и будущим»²⁰.

С этим отрывком можно сравнить, как в более поздней автобиографической прозе, «Дневных звездах», Берггольц описывает свое прощание с отцом, когда она навестила его еще в начале блокады на Невской заставе, где она родилась и где он по-прежнему работал фабричным врачом:

Я еще целое мгновение смотрела ему (папе. — Г.Б.) вслед... туда, где была папина фабрика... а там стеной стояли круглые, библейски прекрасные, первозданные облака... Я взглянула туда, и вся жизнь моя вдруг распостерлась передо мной. И с немыслимой стремительностью, которую не в силах обрасти слово, катились сквозь душу картины всей моей жизни и жизни моей родины и воспоминания о том, что свершилось еще до моей памяти. Нет, я не вспоминала, я жила тем, что было, есть, будет. Эти все переживания были внезапны, отрывочны, разбросаны и в то же время слиты в единый сплошной поток — нет, и нечто, подобное сильному южному морскому прибою, который окатывал нестерпимым, почти болезненным счастьем.

Сказали когда-то: времени больше не будет. Верите ли вы, что это верно, — я знаю это, я знаю, как не бывает времени! В тот день его не было — все оно сжалось в один лучевой пучок во мне, все время, все бытие. И весело рухнули перегородки между жизнью и смертью, между искусством и жизнью, между прошлым, настоящим и будущим²¹.

В этом отрывке мы снова встречаем вместе понятия времени и бытия, причем они не противопоставлены друг другу (как в стихотворении о Мамисоне: «время бытию не мера», где время понимается как обыденное), а объединены в каком-то единстве, целопупности как «все время, все бытие». И конечно, чрезвычайно важно здесь это апокалиптическое: «времени больше не будет» (Откр. 10:6). Небытие времени в обыденном смысле сочетается в ее опыте с совпадением всего времени и всего бытия в модусе реализованной эсхатологии. Это, вероятно, то самое, о чем Берггольц написала в дневниковой записи от 23 мая 1949 года (я начал с нее настоящую статью), где признала, что лишь

19 Ольга. Запретный дневник. С. 449—450.

20 Берггольц О. Мой дневник. Т. 3. С. 98.

21 Берггольц О. Дневные звезды. Говорит Ленинград. М.: Правда, 1990. С. 94.

два раза она в творчестве испытывала «ощущение “всей жизни”, которое дало (ей. — Г.Б.) в 42 г. “Ленинградскую поэму” и в итоге — “Твой путь”»²².

Здесь можно заметить, что и сама поэма «Твой путь» (первоначальные названия — «Воскресение» или «Твое воскресение»²³) не только структурирована как пасхальный переход, включающий в себя умирание, смерть и воскресение (о чем я подробно писал в первой статье о поэме), но и содержит в себе отчетливую память о прошлом, лучшем в нем (Мамисонский перевал и память о других перевалах, где испытывалось счастье), проживание настоящего (в модусе смерти вместе с Городом) и предвкушение, точнее, уже и вкушение будущего — в модусе воскресения и пророчества о победе над смертью. При этом в заключительной части поэмы (нерв которой — воскресение погибшего в блокаду мужа Николая Молчанова) опять упоминается бытие:

...А тот,
над кем светло и неустанно
мне горевать, печалиться, жалеть,
кого прославлю славой безымянной —
немою славой, высшей на земле, —
ты слит со всем, что больше жизни было —
мечта,
душа,
отчизна,
бытие, —
и для меня везде твоя могила
и всюду — воскресение твое.

(С. 493)

Бытие дорогого Берггольц человека перестает восприниматься ею как индивидуальное существование, в котором индивид всегда противопоставлен другим людям и миру, как-то выделен из них. При взгляде на существование человека как индивида он обречен на исчезновение вместе со своей смертью. В отличие от такого понимания Берггольц приходит в конце стихотворения к другому, в котором бытие любимого человека становится для нее неотделимым от бытия всего, оно не ограничено его личным существованием, но расширено на все и вся: «...ты слит со всем, что больше жизни было — / мечта, / душа, / отчизна, / бытие». Дороже кому? Во-первых, самому умершему мужу, во-вторых, ей самой. В этом они были едины. Так что и теперь, когда Берггольц в своем существовании как бы прошла через смерть, расширившись, слившись в своем бытии с бытием других, противостоявших смерти, она сумела воспринять и бытие своего мужа расширенным до всего, что было ему дороже жизни, и в этом всем оставаться со всеми. Именно так Берггольц понимает воскресение своего мужа, творчески увиденное и воспетое ею благодаря ее собственному прохождению через смерть.

«Слава безымянная», о которой здесь идет речь, вероятно, указание на братскую могилу, в которой был похоронен Н. Молчанов. Это стало для Берггольц как бы символом соединения его бытия с бытием других, единством его

22 Берггольц О. Мой дневник. Т. 3. С. 415.

23 Там же. С. 315.

с ними. Таким мне представляется ответ, данный ею на слова мужа, которые она зафиксировала в дневниковой записи от 4 августа 1942 года (то есть уже после смерти Молчанова): «Он писал мне в тюрьму: “предан тебе в этой жизни до смерти — и в вечном бытии”. И его преданность как живую, чувствую в себе непрестанно»²⁴. Под «вечном бытием» здесь вряд ли следует понимать нечто в духе учения о бессмертном бытии души после смерти. Еще в дневниковой записи начала 1938 года пережившая смерть двух дочерей Бергтольц задавалась мучительным вопросом:

Как же примириться тогда с тем, что должно быть и будет отнято, т.е. со смертью (близких людей. — Г.Б.), в условиях, когда отнята идея личного бессмертия? Не должно ли прийти в отчаяние от этого?²⁵

Теперь, в поэме «Твой путь», пережив самую тяжелую потерю, она, похоже, нашла (по крайней мере, во время написания поэмы) для себя ответ на этот вопрос: бытие человека продолжается после смерти в том, что он сам при жизни считал дороже своей жизни, за что он готов был умереть, но соединиться с человеком в этом его «посмертном», а значит, и вечном бытии может только тот, кто и сам готов отдать свою жизнь за то же самое.

Теперь понятней, что имела в виду Бергтольц под бытом, который не является бытием, и чем он отличается от бытия. Когда существование человека посвящено тому, чтобы поддерживать свою жизнь как индивида, это и есть наше повседневное существование или быт (и неважно, в каких условиях это происходит). Напротив, когда жизнь посвящается тому, что ее дороже, за что всю жизнь готов отдать и реально ее отдаешь (а для этого необходимо предстояние смерти, опять же, неважно, в мирное время или во время войны), то выходишь за пределы индивидуального существования. Именно в этом контексте блокадный быт, если это было не просто индивидуальное выживание, а участие в общем противостоянии смерти, победе над ней, становился бытием и являлся им. А поскольку речь идет о том, чему человек готов посвятить и посвящает всю свою жизнь, до самого ее конца, то такое бытие вбирает в себя всю судьбу человека, все, что с начала и до конца ее так или иначе посвящено этой, большей, чем вся его жизнь, цели.

2. Второй эпиграф и «шагреневая кожа»

В свете сказанного о понимании О. Бергтольц бытия становится понятней второй (наряду с первым, из 136-го псалма, о нем была речь в первой статье²⁶) эпиграф к поэме — цитата (в переводе) из Гете — «умри — и стань!» (482)²⁷ (в оригинале «Stirb und werde!»)²⁸. Этот эпиграф отсутствует, как и первый,

²⁴ Там же. С. 217.

²⁵ Бергтольц О.Ф. Мой дневник. 1930—1941. Т. 2. М.: Кучково поле, 2017. С. 528.

²⁶ Беневич Г. Пасха Ольги Бергтольц. С. 189—191.

²⁷ Струфа, где эта фраза встречается, звучит в переводе так: «И пока у тебя нет этого, / Вот этого: Умри и стань! — / Ты только унылый гость / На тусклой земле» (пер. Ольги Седаковой, для которой, к слову, эта фраза Гете, по ее признанию, тоже чрезвычайно значима, см.: <https://tayga.info/150800>).

²⁸ Из стихотворения «Святая тоска», из «Западно-восточного дивана» (1814—1819).

во всех доперестроенных, да и в некоторых более поздних изданиях поэмы «Твой путь»²⁹. Между тем он не менее важен для понимания поэмы, чем эпиграф из 136-го псалма («Аще и забуду тебя, Иерусалиме...» (482)), по-своему настраивает на нее. В дневниках Берггольц эта цитата из Гете неоднократно появляется в конце 1937 года³⁰, в период, когда она подвергалась «чистке» по партийной (исключение из кандидатов в члены ВКП(б)) и писательской линии (исключена из Союза писателей 16 мая 1937 года, восстановлена в июле 1938 года). К тому же совсем недавно она пережила смерть дочери, а у мужа Н. Молчанова участились эпилептические припадки. Именно в это время Берггольц записывает в дневнике:

«Умри — и стань!»... Умру. Во имя себя и дела. Но стану. Всем, что не умрет во мне, а лишь глубже скроется. Умру. Но — стану, стану, стану³¹.

Следующая запись на фоне тех же событий:

«Умри — и стань». Пока — умираю. Это тоже творческий процесс³².

И опять:

Это пройдет... Все будет, будет много хорошего, и тебе поверят, и полюбят тебя... О, умри, и стань! Умри, умри пока, чтобы потом — стать. Умри, и пусть в курган с тобою зароют твое тщеславие, суетность, противоречивость. Нет, не с тобою, а сожгут отдельно. Чтобы, став, больше не пользоваться этим оружием. О, умри, и стань... Умри, умри, умри!...³³

И хотя эти записи, сделанные, очевидно, в тяжелом психологическом состоянии, не до конца ясны, но общий смысл уловить можно. Ситуацию обвинений идеино-политического и профессионального характера, небывалого для нее давления на себя Берггольц старается использовать максимально творчески, позитивно, с тем чтобы оставить в прошлом все, что не есть она сама. Все, что

29 Если первый эпиграф отсутствует во всех доперестроенных изданиях, скорее всего, по цензурным причинам, то по какой-то причине эта же участь постигла и второй? Возможно, Берггольц и сама не хотела оставлять только второй эпиграф, чтобы это не сужало главную тему поэмы, опуская первую — верности священной памяти, задаваемую цитатой из 136-го псалма. Но возможно, наряду с этой была и другая причина, почему второй эпиграф отсутствовал уже в первом издании (которое потом просто повторялось), причина, как ни странно, тоже связанная с цензурой. По крайней мере, в дневнике Берггольц 1942 года приведена резолюция «куратора» от партии (вероятно, завсектором печати ленинградского горкома ВКП(б) А.П. Гришкевича): «сейчас Гете поднимать мы не будем» (Берггольц О. Мой дневник. Т. 3. С. 152). Эта запись, впрочем, относится к отзыву на другую поэму Берггольц, «Февральский дневник» (возможно, она хотела поставить этот эпиграф туда), как бы то ни было, хотя Берггольц и назвала там же, в дневнике, Гришкевича и подобных ему «дикарями» (коль скоро они борьбу с гитлеровской Германией смешивают с борьбой с немецкой культурой), но пришлось подчиниться, и эпиграф из Гете отсутствует во всех прижизненных изданиях.

30 Эта цитата из Гете, наряду с некоторыми другими значимыми для нее цитатами, встречается в записи рукой О.Ф. Берггольц на форзаце дневниковой тетради 1937 года (см.: Берггольц О. Мой дневник. Т. 2. С. 458).

31 Берггольц О. Мой дневник. Т. 2. С. 475–476. Запись от 2 октября 1937 года.

32 Там же. С. 500.

33 Там же. С. 508.

может умереть, должно умереть, быть отделено от нее и погребено, точнее, сожжено, но она сама в своем собственном бытии должна «стать», то есть это бытие должно явиться.

Прохождение через смерть и становление в собственном и подлинном бытии составляют важнейшую часть мистерии и фабулы «Твоего пути». Ключевым здесь является отрывок из начала 4-й части поэмы, идущий сразу после слов про быт и бытие³⁴, которые обсуждались выше:

А я жила.

Изнемогало тело,
и то сияло, то бессильно тлело
сознание смятенное мое.
Сжималась жизнь во мне...

Совсем похоже,

как древняя шагреневая кожа
с неистовой сжималась быстротою,
едва владелец — бедный раб ее —
любое, незапретное, простое
осуществлял желание свое.

Сжималась жизнь...

Так вот что значит — смерть:
не сметь желать.

С а м о й — совсем не сметь.

(С. 485—486)

Здесь как будто бы идет речь о том же опыте, который Кирилл Кобрин, анализируя «Записки блокадного человека» Л.Я. Гинзбург³⁵, суммировал так: «Вследствие... распада связи сознания и тела у «блокадного человека» невероятно возрастает роль мускульного усилия. Чем меньше автоматизма, тем больше усилий, чем больше усилий, тем сильнее истощение»³⁶. У Бергтольца, однако, этот опыт (который у нее тоже был) осознан в более широком контексте онтологической и экзистенциальной проблематики³⁷. Это еще более очевидно, если обратить внимание на ключевой для этого отрывка образ-символ «шагреневой кожи», не имеющий в своем первоисточнике, у Бальзака, прямого отношения к психофизическому истощению, но могущий служить символом иссякания жизни при самых разных обстоятельствах и по разным причинам.

Именно в этих контекстах «шагреневая кожа» встречается в дневниках Бергтольца и до, и во время блокады. Первый раз — в связи со смертью дочери Иры:

34 К тому, как одно стыкуется с другим, я обращаюсь чуть ниже.

35 Лидия Гинзбург во время блокады была литературным редактором в том самом радиокомитете, где, впрочем совсем в другом статусе, работала Ольга Бергтольц. Они общались, и в дневнике Бергтольца от 10 февраля 1942 года сохранилось упоминание ее имени среди тех, с кем она делилась «нищенскими крохами» (см.: Бергтольц О. Мой дневник. Т. 3. С. 148).

36 Кобрин К. Прорыв блокадного круга // Л.Я. Гинзбург. Записки блокадного человека. Воспоминания. М.: Эксмо, 2014. С. 20.

37 Недаром этот текст идет в поэме сразу после строчек про быт и бытие.

Я не чувствовала горя... Я потеряла больше, чем Иру... Иру!.. Жизнь по капле уходила из меня при каждом живом воспоминании о ней, сокращаясь, как шагреневая кожа...³⁸

Другая запись с использованием того же образа уже блокадная (от 9 апреля 1942 года), при воспоминании о смерти, точнее, муках приближающегося к смерти Н. Молчанова:

Сегодня все время приступами — видение Коли во второе мое посещение госпиталя... Мне нельзя жить. <...> Сокращается и сокращается жизнь, сжимается, как шагреневая кожа, — и вот человеку остается только одно — умереть; и если человек видит и знает, что она сокращается, — это ужас... В душе у меня сократилось очень и очень многое, она ссыхается. Я погружаюсь в себя³⁹.

А вот другая запись той же блокадной весной 1942 года:

Я коченею давно. Колина смерть — последняя точка, последняя утрата в цепи страшных утрат — и личных, и общественных, которые начались еще в 33-м году⁴⁰. Шагреневая кожа почти на исходе⁴¹.

Общее между всеми этими дневниковыми записями то, что в них символ «шагреневой кожи» помогает осмыслить характер неумолимого иссякания жизни. Потеря того, кого человек любит (мужа, ребенка), чувство вины перед ними приводит к ущербу в его бытии, скуживанию⁴² его души, его жизни. Почему это происходит? В 1937 году Берггольц открыла для себя Ромена Роллана, его роман «Очарованная душа», и сделала об этом несколько записей в дневнике⁴³. В частности, о том, как в ней остро отзывались «страницы о смерти Марка и переживания Аннет» (его матери) из-за этой утраты⁴⁴. Феномен «ничтожения» собственного бытия при потере любимых у Роллана описывается так: «Если того, что я любил, больше нет, то и я, любивший, тоже превратился в ничто, ибо я существую лишь в том, что люблю...»⁴⁵. То, как Берггольц описывает сокращение, «скуживание» своей души, иссякание жизни при потере любимых — дочери, мужа, — коррелирует с этим словами Роллана, а они, в свою очередь, позволяют понять онтологию такого сокращения жизни (наподобие «шагреневой кожи») при потере любимых. Если я существую в том, что люблю, то есть мое бытие, моя жизнь определяется их индивидуальным существованием в мире, держится на нем, то понятно, что с их смертью и я теряю способность жить, а с утратой последнего из любимых я должен превратиться в ничто, полностью утратить силу жить. У Берггольц к этому прибавляется еще чувство вины за смерть родных — что она их не уберегла.

38 Берггольц О. Мой дневник. Т. 2. С. 540. Запись от 13 марта 1938 года (вторая годовщина смерти дочери).

39 Берггольц О. Мой дневник. Т. 3. С. 168.

40 Год смерти дочери от Н. Молчанова Майи.

41 Берггольц О. Мой дневник. Т. 3. С. 188 (запись от 20 мая 1942 года).

42 Даль считает, что этимологически слово «скужиться» происходит от «кожа». Это делает его употребление здесь вдвойне уместным.

43 Берггольц О. Мой дневник. Т. 2. С. 468, 470.

44 Там же. С. 470.

45 <https://flibusta.com.ua/proza/klassicheskaja-proza/page-79-136470-romen-rollan-ocharovannaya-dusha.html>.

Но в поэме «Твой путь» в процитированном выше отрывке «шагреневая кожа» встречается в другом контексте, не в связи с потерей любимых (по крайней мере, прямо об этом не говорится⁴⁶). Здесь осуществление каждого нового желания, даже самого простого и незапретного (в отличие от прихотливых желаний героя Бальзака), то есть даже элементарного желания поддержания жизни, приводит к «скокоживанию жизни». Это и понятно: если жизнь индивида (а она конечна) тратится на поддержание его индивидуального существования, то его экзистенция подобна «шагреневой коже», он тратит свою жизнь, чтобы поддерживать ее⁴⁷. Итак, все дело в онтологии, то есть в том, как мы, сознавая это или нет, понимаем бытие. Если бытие для нас — это конечная жизнь конечных индивидов, то поддержание ее с необходимостью имеет структуру сокращающейся «шагреневой кожи» — траты той же жизни. Блокада, истощение физических, ментальных и душевных сил только обостряют и ускоряют тот процесс, который при такой же экзистенции и онтологии в «обычной жизни» занимает многие годы, а ускоряется только при наступлении старости и болезней.

Если теперь обратиться к строчкам, предваряющим разбираемый отрывок: «В те дни исчез, отхлынул бы т. / И смело / в права свои вступило бы т и е. / А я жила. / Изнемогало тело...» (485), — то в свете сказанного их следует, очевидно, понять так, что слова про вступившее в свои права бытие — ретроспективные и обобщающие, это, так сказать, взгляд на общую ситуацию в блокадном городе (при правильном ее восприятии), а дальше («А я жила» и прочее) речь уже идет о существовании отдельного индивида («я»), предвкушающего конец своего существования; противительный союз «а» в этой фразе противопоставляет его «скокоживающуюся» жизнь вступившему в свои права Бытию.

Видение и знание, что твоя жизнь сокращается, как шагреневая кожа, — настоящий ужас, как Бергтольц пишет об этом в дневнике: «...и если человек видит и знает, что она (то есть жизнь. — Г.Б.) сокращается, — это ужас»⁴⁸. А в поэме как страшная догадка и откровение: «Так вот что значит — смерть: / не сметь желать. / С а м о й — совсем не сметь» (486). Знающий, что с каждым его желанием его жизнь сокращается «с неистовой быстротою», не осмеливается уже ни на одно свое желание. Это не физическая смерть, а оцепенение от страха перед нею.

Таким образом, в отличие от опыта Мамисона с его «смерти не было и нет», блокадный опыт Бергтольц показал, что смерть в некотором смысле есть, а именно в том самом, в каком она — через страх смерти — завладевает нашей жизнью, отнимает у нас свободу, лишает счастья (ср.: «смерть — это умирание, это тоскливоое ожидание ее, предчувствие ее»⁴⁹). Не случайно сразу после стро-

46 Хотя о смерти Н. Молчанова, конечно, говорится в других местах поэмы, и сама эта утрата — мощнейший импульс написания ее.

47 У Бальзака несколько иная проблематика, но онтология примерно та же. Вспомним, что было написано на «шагреневой коже»: «Обладая мною, ты будешь обладать всем, но жизнь твоя будет принадлежать мне. Так угодно Богу. Желай — и желания твои будут исполнены. Однако соразмеряй свои желания со своею жизнью. Она — здесь. При каждом желании я буду убывать, словно дни твои. Хочешь владеть мною? Бери. Бог тебя услышит. Да будет так!» (<https://www.litres.ru/onore-de-balzak/shagrenevaya-kozha/chitat-onlayn/page-2/>).

48 Бергтольц О. Мой дневник. Т. 3. С. 168.

49 Там же. С. 195.

чек про значение смерти по принципу противопоставления идут опять воспоминания о горных перевалах ее молодости: «Так вот что значит — смерть: / не сметь желать. / С а м о й — совсем не сметь. / Ну что же, пусть. / Я все равно устала, / я все равно не этого ждала / на тех далеких горных перевалах, / под небосводом синего стекла» (486). «Пусть» здесь означает согласие умереть, потому что такая жизнь, в которой страх смерти завладевает твоей волей, настолько далека от того ощущения счастья и восторга бытием, который она испытала в молодости, что лучше умереть, чем так жить.

Другим аспектом умирания, согласно свидетельству Берггольц, является отсутствие не только будущего, что подразумевается в словах «не сметь желать», но даже некоторым образом и настоящего, а в нем самого себя: «...Всё превратилось вдруг в воспоминанье: / вся жизнь, / все чувства / даже я сама, / пока вокруг в свирепом ожиданье / стоят враги, безумствует зима» (486). Нет себя, зато есть значимый Другой, бывший для нее совестью и/или супер-Эго⁵⁰, Другой, чей образ является немым и неотступным укором («...и надо всем — / сквозь лед, и бред, и ночи, / не погасить его, не отойти — / рублевский лик и стынущие очи / тому, кому не сказано: “Прости!”» (486)), с кем уже не попрощаться и не получить прощение. Наконец, хотя Берггольц уже говорила, что свои желания в этом состоянии умирания она иметь не смела, об одном оставшемся желании она все же пишет: «...Еще хотелось повидать сестру. / Я думала о ней с такой любовью, / что стало ясно мне: на днях — умру. / То кровь тоскует по родимой крови» (487). Тут нет противоречия: желание повидать родную сестру перед смертью — это не то, на что нужна смелость (чтобы осмелиться иметь свои желания, нужна обращенность в будущее), но то, что возникает перед смертью как зов крови, обращающий в далекое прошлое, зов этого прошлого. Ведь самые теплые, дорогие воспоминания о сестре связаны с детством (что видно и по «Дневным звездам»).

В конце декабря 1941 года Берггольц написала в своем дневнике: «Ничто — ни голод, ни холод, ни немцы — ничто не в силах отнять желания жить и быть счастливым»⁵¹. Но одно дело — декларировать это, а другое — реально преодолеть оцепенение перед смертью, обращенность в одно только прошлое, чувство неизбывной вины за смерть Другого — все то, что отнимало последние силы жить, само право на жизнь, внутреннюю правоту. И не случайно Берггольц писала об этом состоянии: «...в душе у меня сократилось очень и очень многое, она ссыхается. Я погружаюсь в себя, становлюсь равнодушной к людям»⁵². Так что, когда в поэме «Твой путь» она написала о бывшем рядом с нею в это время ее «умирания» Георгии Макогоненко, с которым у нее была любовная связь с осени 1941 года⁵³, «незнакомый, чей-то, не родной» (487), в этом не стоит усматривать желание «замолчать» сам неудобный факт этой связи, послужившей одной из причин⁵⁴ отсрочек, а затем и отказа от эвакуации из осажденного Города ради спасения больного мужа — откуда и чувство вины перед ним. Со-

50 Ср.: «Я верила ему абсолютно, все, что он говорил, было для меня законом»; «о, душа моя, совесть моя» (Берггольц О. Мой дневник. Т. 3. С. 195, 198).

51 Берггольц О. Мой дневник. Т. 3. С. 98.

52 Там же. С. 168.

53 То есть примерно за четыре месяца до смерти мужа (см.: Берггольц О. Мой дневник. Т. 3. С. 61).

54 Другой — было нежелание покинуть сражающийся Город, где ей нашлось важное применение на радио, чему как раз и поспособствовал Макогоненко.

стояние умирания, вина перед значимым Другим (каковым Макогоненко для Берггольц еще не был), судя по поэме (это и экзистенциально убедительно), стало причиной отчуждения ее от него. Он же в это время сумел, сохраняя уважение к ее горю и любви к погибшему мужу, оставаться «на страже» ее «отчуждения» (487)⁵⁵ и просто не дать ей умереть и окончательно замкнуться в себе. Вот как об этом сказано в поэме:

(C. 487)

Не удивительно, что такое благородство со стороны того, кто в это время оказался «ближе всех» (здесь, второй раз в поэме, имплицитно обыгрывается притча о добром самарянине⁵⁶ с ее ответом на вопрос: кто твой ближний?⁵⁷), вызвало у Бергольц чувство, которое не сводится к плотскому желанию. Отношения с Макогоненко прошли испытание ее умиранием, когда сексуальная связь ради сохранения ее личности, верности ее прошлому, должна была прерваться⁵⁸. Так

55 Отчуждение предполагает бывшую до этого близость, которая имплицитно подразумевается. Так что нельзя сказать, что Берггольц пишет так, будто ее не было.

56 Ср. в начале поэмы: «Как в притчах позабытых и священных, / пред путником, который изнемог, / ты встал передо мною на колено / и обувь снял с моих отекших ног; / высокое сложил мне изголовье, / чтоб легче сердцу было по ночам, / и лег в ногах, окоченевший сам, / и ничего не называл любовью...» (482). «В притчах позабытых и священных...» – это, конечно, про притчу о добром самарянине (Лк. 10:25–37).

57 «Не знакомый», «не родной» — это эпитеты, которые тоже имплицитно отсылают к притче о самарянине, который именно таким и был по отношению к спасенному им человеку (в отличие от прошедших мимо родных по крови и вере евреев).

58 Как Бергтольц удавалось сохранять цельность своей личности (если удавалось), внутреннюю правоту, когда она изменяла мужу, которого так любила, это отдельный вопрос, который мы здесь обсуждать не можем (ответы на него можно попытаться дать, читая ее дневник; см., в частности: *Берггольц О. Мой дневник. Т. 3. С. 53, 61, 96*). В целом в оценке ее личности уместно, мне кажется, прислушаться к словам Лидии Гинзбург, которая при всем критическом отношении к официальным авторам, не исключая Бергтольц, сказала о ней: «Она женщина, которую много любили, которая много любила и которой многое простится» (*Гинзбург Л.Я. Проходящие характеры*:

выявила суть его отношения к ней, в котором она увидела уже не страсть, а любовь. Страсть в состоянии «умирания» (в том числе и морального) не могла бы вызвать в ней ответную страсть и вернуть желание жить. А любовь ответную любовь вызвать смогла, а вместе с любовью вернулось и желание близости до конца жизни с тем, кто эту любовь вызвал: «...открыла вдруг, что ты мое желанье, / последнее желанье на земле» (487).

И тут, в конце 4-й части поэмы, части, посвященной прохождению через смерть и становлению к новой жизни («умри — и стань!»), снова появляется образ-символ шагреневой кожи, позволяющий понять, какова цена, которую нужно быть готовым заплатить за желание жить и быть счастливой. За это нужно ни больше ни меньше решиться отдать жизнь:

Я так хочу.
Я так хочу сама.

Пускай, озлясь, грозится мне зима,
что радости вместить уже не сможет
остаток жизни —
мстительная кожа, —
я так хочу.
Пускай сойдет на нет:
мне мерзок своеволия запрет.

Можно подумать, что тут полемика с христианским этосом, где своеование — это нечто заведомо дурное, какое-то восстание против воли Божией. Но в контексте поэмы лирическая героиня Бергтольц восстает против того порядка вещей, при котором жизнь человека определяется страхом за нее. При такой экзистенции ни о каком подлинном, собственном бытии, ни о какой настоящей свободе говорить не приходится. Это не жизнь, а смерть — не сметь желать самой, а желать того, что обусловлено страхом смерти.

«О, как я жить решилась, как я смела!» (482) — то ли восклицает, то ли вопрошают Бергтольц в первой строфе поэмы. «Не сметь» из «не сметь желать / С а м о й — совсем не сметь» (486) перекликается по принципу противоположности со «смело» из строчек про бытие: «...и смело / в свои права вступило бы т и е» (485). Можно, наверное, сказать, что в жизни самой Бергтольц бытие смело вступило в свои права, когда она осмелилась на бытие, преодолев неумолимость закона «шагреневой кожи»⁵⁹.

Проза военных лет. Записки блокадного человека. М.: Новое издательство, 2011. С. 110. У Гинзбург здесь аллюзия к евангельскому: «...прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много, а кому мало прощается, тот мало любит» (Лк. 7:47).

59 Тема, которую можно было бы условно назвать словом «сметь», впервые появляется у пятнадцатилетней Ольги Бергтольц после прочтения Достоевского в такой сбивчивой, но в целом понятной дневниковой записи от 10 декабря 1925 года: «“Преступление и наказание” очень сильно повлияли на меня... А теория Раскольникова — прямо потрясла... Да!.. Вонь ли я?.. Не хочу быть вошью... Хочу иметь право сметь» (Бергтольц О.Ф. Мой дневник. 1923—1929. Т. 1. С. 232). А в 1952 году в стихотворении «...Я недругов смертью своей не утешу» эта же тема отозвалась строчками: «Я встану над жизнью бездонной своюю, / над страхом ее, над железной тоскою... / Я знаю о многом. Я помню. Я с м е ю. / Я тоже чего-нибудь страшного стою...» (Ольга. Запретный дневник. С. 342; шрифтовое выделение Бергтольц).

3. «Всеобщая душа»

Хотя к непосредственному написанию поэмы «Твой путь» Берггольц приступила, вероятно, в 1944 году⁶⁰, но первые, еще смутные, интуиции будущего произведения можно найти уже в записи от 26 октября 1942 года:

О, как мне хочется написать что-то очень простое, обнажающее и озаряющее сердце, доводящее его до того невыразимого восторга, вдохновения жизнью, когда оно вдруг — через мелочь, через что-то сугубо интимное, индивидуальное, близкое — вбирает в себя весь мир, весь сразу, — и умиляется...

Ведь и верно, быть может, умиление — еще более сильное чувство, чем восхищенье.

Быть может, это будут стихи о Николае. Я согласна завершить ими свой поэтический путь, лишь бы написать их на том пределе, который близок будет пределу Души Всеобщей⁶¹.

В этой записи много примечательного. Прежде всего, это сравнение восхищения с умилением, как и само понимание умиления у Берггольц. Что касается восхищения, близкого для нее к восторгу, то именно его и пережила она на Мамисоне. В поэме этот опыт, как мы убедились, описан несколько принужденно по сравнению с тем, как он передан в стихотворении «На Мамисонском перевале». Но если бы этот опыт был просто юношеским восторгом, он не имел бы такой сильной власти над Берггольц, что во время ее блокадного «умирания» она вновь и вновь оглядывалась на него, сравнивая свое нынешнее состояние с тем восторгом и едва ли не предпочитая смерть такой жизни. Именно потому, что этот опыт был так важен для нее, она и в самом начале поэмы написала, что боится себя той, что тогда стояла на Мамисоне («Я той боюсь, которая однажды / на Мамисоне / искрящимся днем / глядела в мир с неукротимой жаждой / и верила во всем ему, во всем...» (483)), то есть опять же этого, как мы теперь понимаем, восторга бытием. Боялась потому, очевидно, что быть на уровне той силы и яркости переживания, не так просто.

Тем не менее в поэме «Твой путь» Берггольц действительно сумела, не предав и не отказавшись от того опыта, как не отказалась она и от памяти

-
- 60 См.: *Берггольц О. Твой дневник*. Т. 3. С. 311. Впрочем, название поэмы наметилось у нее еще раньше — в одном из стихотворений цикла «Родина» (1939) — «Изранила и душу опалила» (Ольга. Запретный дневник. С. 429—430), где поэтесса обещает Родине (удары и раны которой принимает), если та не отнимет у нее свой дар, «твой путь воспеть». Это обещание и отозвалось потом в поэме «Твой путь», посвященной, правда, не всей Родине, но родному Городу; впрочем, его «путь» во время блокады — смерть и воскресение — можно счесть квинтэссенцией пути всей страны во время войны.
- 61 *Берггольц О. Твой дневник*. Т. 3. С. 231. Ср. со сказанным Берггольц в 1946 году о военной поэзии Ахматовой, но подходящим, пожалуй, больше к лучшим произведениям самой Берггольц периода войны: «Ныне ясно, что торжествует и наиболее плодотворно творит единая, богатая личность поэта, для которого “личное” и “общественное” — равноправно и равноценны, — настолько, что поэт свободно выражает то и другое, как единое содержание души; и только такой поэт способен на свободный разговор обо всем мире — в форме, “наиболее свидетельствующей” о мире — в лирической поэзии» (<https://magazines.gorky.media/znamia/2001/10/neizvestnaya-statya-olgi-berggolcz-ob-anne-ahmatovoj.html>).

Н. Молчанова, подняться на следующую по сравнению с восторгом бытием духовную ступень. Пройдя через умирание (не столько физическое, сколько духовное и моральное, что еще страшнее), дойдя здесь до самого предела, Бергтольц благодаря помощи и поддержке полюбившего ее человека осмелилась быть⁶², соединившись при этом в своем бытии с бытием других, противостоявших смерти. При этом она сумела воспринять и бытие своего погибшего мужа расширенным до всего, что было ему самому дороже жизни, и в этом всем осталась везде и со всеми. Так она простилась с тем, с кем она не смогла проститься при жизни, сумела его достойно похоронить и не отдать забвению и смерти: «И для меня везде твоя могила, / и всюду воскресение твое» (493)⁶³.

Это то самое расширение индивидуального бытия до всеобщего, в котором оно «через что-то сугубо интимное, индивидуальное, близкое — вбирает в себя весь мир, весь сразу, — и умиляется», как написала Бергтольц, когда в 1942 году у нее возникла первая интуиция поэмы. Это уже не просто мгновенное снятие индивидуальной ограниченности и смертности в состоянии восторга (как у нее это произошло на Мамисоне), но такое прохождение через смерть, при котором, осмелившись быть, человек воскресает уже не прежним ограниченным индивидом, но расширенным в своем бытии до бытия со всеми, кто противостоит смерти, гибели и забвению.

Если бы не это философское понимание расширения индивидуального бытия и «умиления», то Бергтольц (особенно учитывая характер того государства, в котором она жила и творила, и ее официальное положение на радио) можно было бы заподозрить в том, что ее пафос сводится к приобщению горожан, разъединенных дистрофией и блокадой к общей жизни Ленинграда и Советской страны, то есть к пропагандистской роли, облеченней, пусть и в талантливую, стихотворную форму. Так, в сущности, и трактует блокадные стихи Бергтольц Полина Барскова⁶⁴. Что примерно в таком духе понимаемое «умиление» в сталинское время в самом деле существовало, можно узнать по одному примеру из «Крутого маршрута» Евгении Гинзбург, которая, характеризуя агитаторшу, пришедшую после выхода ее из лагеря агитировать голосовать на «выборах» как «сталинистку умиленного типа», поясняет: «Она просто вся сочилась благостным восхищением, искренним желанием приобщить и меня, изгоя, к тому гармоничному миру, в котором так плодотворно живет она»⁶⁵.

Только углубление в философское содержание поэмы Бергтольц «Твой путь» позволяет освободить ее от прочтения в духе, так сказать, тоталитарного

62 Вспомним «Мужество быть» Пауля Тиллиха.

63 Поэма «Твой путь», помимо всего прочего, является своего рода памятником Н. Молчанову, да и всем погибшим, как и он, во время блокады (куски поэмы, в которых об этом идет речь, я не разбирал, они хорошо известны). И здесь не неуместно будет вспомнить, что, как заметил уже Платон, греч. σῆμα — знак (отсюда семантика) и, с другой стороны, — гробница, могильный памятник. Так что поэма как творческий семантический акт (поэзис) замечательным образом совпадает с актом погребения; «что» совпадает с «как», и это лишний раз доказывает подлинность этого произведения.

64 Барскова П. Седьмая щелочь. С. 68.

65 Цит. по: <https://www.chukfamily.ru/kornei/bibliografiya/articles-bibliografiya/tarakanishhe>.

умиления, к каковому прочтению, видимо, склонялась даже такая тонкая ценительница поэзии, как Л.Я. Гинзбург, на которую, в свою очередь, ссылается П. Барскова (см. высказывание Гинзбург о Бергтольц: «...героика взята на очень истерической ноте и на неудержимом самолюбовании, коллективном и личном»⁶⁶). В самом деле, если под «Душой Всеобщей» у Бергтольц понимать что-то вроде коллективной души советских людей, голосом которой она как будто хотела стать, то обвинения П. Барской и Л. Гинзбург не лишены оснований. Однако философское прочтение поэмы «Твой путь» открывает возможность иной перспективы на происходящее в ней. Никто не обязывает нас трактовать «бытие» как сводящееся к советской действительности, жизни советского народа или «города Ленина». Но тут каждый читатель сам для себя выбирает — обогатиться ли, читая эту поэму, новыми смыслами, воспринимая Бергтольц как свидетеля бытия, или заклеймить ее за узость и принадлежность тираническому режиму, тень которого в поэме, надо признать, действительно присутствует⁶⁷.

Как бы то ни было, не может вызывать сомнения, что Бергтольц своим поэтическим постижением бытия и времени, во многом близким к современной ей экзистенциальной философии (причем, что замечательно, независимо от нее), оказалась в поэме «Твой путь» участницей того «большого разговора», который ведется в мировой культуре и философии — разговора о жизни и смерти, сущи бытия и времени...⁶⁸ И хотя Лидия Гинзбург (эти слова ее приводит Барскова в своей книге) высказала, как раз говоря о поэзии военных лет, радикальный тезис: «...писатель, который печатается, тем самым уже не может вести большой разговор»⁶⁹, проверки поэмы «Твой путь» О. Бергтольц этот тезис, по-моему, не проходит⁷⁰.

Это не значит, что ответ, данный Бергтольц в этой поэме о том, что такое бытие, как следует понимать смерть и воскресение, — единственно возможный. Участие в «большом разговоре» и не подразумевает, что кто-то в нем (если мы говорим о культуре) обладает окончательным и исчерпывающим ответом. Более того, Бергтольц и сама, даже после, казалось бы, «счастливого конца» поэмы, как видно по ее стихам и дневниковым записям, продолжала тосковать по Н. Молчанову. Так, 30 декабря 1945 года она записала в дневнике: «Боль о нем не утихла. Траур мой не кончится никогда»⁷¹, — а в одном из стихотворений 1946 года, грезя, словно погибший в блокаду муж вернулся до-

66 Барскова П. Седьмая щелочь. С. 66.

67 Это видно особенно по последним строчкам поэмы: «...и всюду — воскресение твое. / Твердит об этом / трубный глас Москвы, / когда она, / колебля своды ночи, / как равных — славит павших и живых / и Смерти — смертный приговор пророчит» (493). На самом деле, это она, Бергтольц, обретает «всюду» воскресение своего погибшего мужа, но в этих строчках она ссылается в качестве последней инстанции на «трубный глас Москвы», уподобляя ее ангелам из Апокалипсиса (Откр. 8:6–12).

68 См. о поэтике времени (к сожалению, в отрыве от онтологической проблематики) у Бергтольц в: Ходжсон К. Прорываясь сквозь барьеры времени и пространства во время блокады: Ольга Бергтольц // Новое литературное обозрение. 2016. № 137 (https://www.nlobooks.ru/magazines/novoe_literaturnoe_ozorenie/137_nlo_1_2016/article/11797/).

69 Барскова П. Седьмая щелочь. С. 35.

70 Впрочем, верно и то, что вникнуть в поэму, увидеть ее глубину, было бы трудно без неподцензурных дневников.

71 Бергтольц О. Мой дневник. Т. 3. С. 300.

мой, прибегая все к тому же «материнскому языку» православной традиции, Берггольц так написала о «встрече» с ним: «Хозяином переступил порог, / гордым и радостным встал, любя. / А я бормочу: «Да воскреснет бог», / а я закрещиваю тебя / крестом неверующих, крестом / отчаянья, где не видать ни зги, / которым закрещен был каждый дом / в ту зиму, в ту зиму, как ты погиб...»⁷².

Видно, то, как она в поэме «воскресила» мужа, не вполне убедило и утешило ее саму. Но это уже другой разговор, выходящий за пределы настоящей статьи⁷³.

72 Берггольц О.Ф. Избранные произведения. Л.: Советский писатель, 1983. С. 300.

73 О послевоенном духовном кризисе в жизни и творчестве поэтессы см. в моей статье: Ольга. Берггольц. Вехи духовной биографии // Нева. 2021. № 9 (<https://magazines.gorky.media/wp-content/uploads/2021/09/10-Benevich.pdf>). Там же см. подробнее о значении Молчанова для Берггольц и о ее религиозном отношении к Родине, Земле в предвоенный и военный периоды и как это сказалось в том числе на поэме «Твой путь».